



Анатолий КАЙДА

МАЛЫШ, ИЛИ СЕМЬДЕТ, КАК КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Повествование в рассказах

ШРАМ

Я с братом и его другом Вовкой осваиваем трехколесный велосипед. Велосипед по тому времени роскошь, а этот — найденный на свалке за заводской кислородной станцией, куда везли мусор со всего города, ржавый, с погнутыми крыльями и с разбитыми шинами на задних колесах — сразу сделал нас сказочно богатыми. На нас с завистью смотрят все встречные мальчишки. Велосипедов тогда еще и в магазинах не было, а этот, наверное, привез с другого конца страны еще в начале войны, в эвакуацию, а потом выбросил какой-то придурочный богач-пацан.

Моя очередь еще не подошла, я младше брата на три года, в школу только через два лета, и потому безропотно толкаю велосипед сзади, правда, не забываю время от времени канючить. Он дребезжит на торчащих из дороги булыжниках, тренькает звонок (даже звонок сохранился!)... Конец августа, скоро брату в школу, и я уже мечтаю, как целых полдня буду хозяином трехколесной машины...

Наконец-то подходит моя очередь, я устраиваюсь в стертое седло. Потихоньку жму на ржавые расхлябанные педали, брат и Вовка идут рядом. Но и мне, и им быстро надоедает плестись еле-еле, и они предлагают меня толкануть.

— Давай, — соглашаюсь я.

Они подталкивают меня сзади, я сильнее жму на педали. Дорога спешит под переднее колесо, подскакивает и пытается вырвать руль из рук. За спиной нарастает грохот мотоцикла...

— Давай, давай! — визжу я в восторге.

Мотоцикл поравнялся с нами, мне даже кажется, что мы идем нос в нос, даже обгоняем чуть-чуть. Я что-то ору, крылья руля под ладонями распрямляются, сейчас мы взлетим, мои ноги уже не успевают за педалями, я их поджимаю... мы летим... и тут я с ужасом чувствую, что переднее колесо не подчиняется рулю: я поворачиваю руль на дорогу, а колесо норовит в канаву.

— Стой! — ору я, но пыхтящий сзади четырехногий механизм не слышит, и уж ничего нельзя сделать.

На полной скорости велосипед летит в канаву, кувыркается, я лечу — уже один — через руль и врезаюсь лицом во что-то острое, будто нож. Это железный

обруч от деревянной бочки, и его ребро приходится как раз мне по носу, губе и подбородку. Меня по инерции перекидывает на спину, обруч другим ребром под поясницей, я таращусь в остановившееся синее небо. Губам, носу, подбородку горячо, что-то теплое заливает левый глаз, во рту соль. Мне еще не больно, я ничего не понимаю, обруч мешает летать, и я пытаюсь выдернуть его из-под спины. Брат и Вовка стоят на краю канавы, наверное, решают: удрать им или звать на помощь. Какая-то женщина кричит:

— Пацан убилися!

Ко мне склоняется мужчина, подхватывает на руки. Я в полной памяти и уже чувствую жжение на подбородке и в губе. Мужчина спрашивает про дом, и брат ведет. Скоро я в нашей квартире, мать плачет, мокрым полотенцем стирает кровь, но горячая жидкость все заливает мое лицо. Мать чего-то пугается, звонит по служебному телефону отцу на работу. Тот вскоре прибегает, разглядывает мое лицо и матерится вполголоса. Через пять минут я, полузадушенный тугим свертком полотенца, уже на руках отца, и мы куда-то мчимся в надвигающемся вечере.

Я кошу глаза, когда скрипит шлагбаум. Приоткрывается половинка ворот — мы в колонии, по ту сторону, где живут неизвестно из какого мира существа, о которых в поселке, на людях, говорили со страхом или злобой, а в нашей квартире отец вообще не разрешал упоминать, становясь угрюмым.

Отец несет меня по аккуратным дорожкам мимо темно-зеленого барака, дальше также видны бараки, точно такие же, что есть у нас там, на воле, только в тех школа, пожарка, баня, жильё. Только на воле в них живут обыкновенные люди, их я вижу каждый день. Здесь же почти никого не видно, лишь у дальнего угла маячит темная фигура. Наконец мы входим в один из барачков, мне страшновато, я прижимаюсь к отцу, а он спрашивает: «Больно?» Но мне не больно, я жду, что здесь будет очень темно, не может же быть в этом чужом мире электричества, этим существам его просто не полагается иметь.

Но тут ярко вспыхивают сразу несколько ламп, становится даже слишком светло, до боли в глазах. Меня кладут на стол. Видимо, от потери крови начинается легкое головокружение, я вроде возношусь над столом и уже в тумане вижу над собой несколько лиц. Один из этих людей что-то делает с моим лицом, мелькают перед глазами куски ваты, чем-то остронеприятным бьет в нос. У этого человека лицо какое-то одинаковое, наверное, из-за темной, цвета осеннего дубового листа, кожи. Отца я не вижу, его, кажется, выставили за дверь, хотя я знаю, что он у них начальник.

Хирург машет перед глазами иглой с серой, и как мне кажется, слишком толстой ниткой, я ощущаю легкие покалывания в верхней одеревеневшей губе, язык тоже дубовый, я пытаюсь им шевельнуть, а хирург говорит:

— Ничего, до свадьбы заживет, ничего не будет видно.

«Очень нужно — свадьба», — думаю я, но хирург прикрикивает, так как я кривлю губы. И совсем этот человек с темным лицом не страшен... Приглашают отца.

— Будет жить долго, гражданин начальник, — обращается хирург. Отец что-то отвечает, укутывает меня и уносит.

Когда за нами закрываются ворота и опускается шлагбаум, я вздыхаю с облегчением. Все-таки это чужой мир, хоть он и разочаровал меня мертвой тишиной, каким-то странным спокойствием. Чего же там охранять вышками, прожекторами и овчарками, которые подняли лай, когда отец со мной на руках шел по дороге к поселку вдоль внешнего ограждения из колючки. Я осторожно трогаю языком нитку, лесенкой стянувшую верхнюю губу, и думаю, что к школе, наверное, уже все заживет, а никак не к свадьбе.

Мое воображение не тревожит пока и прадед, о котором сейчас зачем-то рассказывает отец, неся меня домой. Тот вместе с моим отцом, которому тогда было столько лет, сколько мне теперь, у озера со странным названием Чаны, где-то в Сибири, пасли коз, и прадед показывал ноги с отметинами от кандалов. Оказывается, его еще в прошлом веке пригнали пешком из-под Гродно. Его и еще кого-то, после восстания. Я дремлю на плече у отца.

...Отца давно нет, и некому назвать имя того врача-зэка, прочно связавшего свой тяжкий жизненный путь с началом моего пути суровой ниткой хирургического стежка. Знаю только, что был он москвичом. Пережиты свадьбы, дети растут у меня и моих сверстников, а шрам сохранился — тонкий светлый серпик памяти о лете пятидесятого года.

КРЫЛО САМОЛЕТА

В эту сопку, рассказывали, почти в самую вершину, врезался самолет. Возвращался с испытаний и в тумане врезался. Летчики погибли. А на вершине будто бы вкопан кусок крыла. Мы в это верили.

Сопка была самой высокой в гряде, преградившей городу путь на север. Она была похожа на наседку, прикрывшую пестрыми крыльями леса выводок сопок помельче. И клюв был — торчал на самой вершине, словно наседка опасно глядела в небо: не свалится ли еще что-нибудь на голову. Как объяснил мне отец, «клюв» этот был каким-то особым знаком, которые ставят на заметных вершинах. Вроде как три жерди, которые также внаклонку прижимают к стогам, чтобы не раздуло сено. Такие стожки стояли в наших огородах за сараями у тех, кто держал коров, — ветра — то вдоль Амура, особенно в январе-феврале гуляли злые.

Конечно, нам хотелось на сопку. И крыло увидеть, и оглядеться вокруг — старшие пацаны рассказывали, мол, оттуда весь город видно. Мы этому верили и не верили. Поселок-то наш был в пригороде, а до города надо было добираться на попутках, автобусы тогда еще не ходили, потому и трудно было поверить, что оттуда видно такую даль. Я ведь впервые поехал в город, только когда уже учился во втором классе, а тогда, вот той весной, мне было шесть лет, в школу я должен был пойти только через пять месяцев.

Родители не разрешали нам пока ходить на сопку. Они нас пугали, что там, в тайге, которая начиналась за грядой и кончалась неизвестно где, можно не только заблудиться, но и попасть в пятую колонию, где держали самых главных бандитов, которые и детей едят — были такие случаи. Да мы и сами побаивались.

Дело было в том, что гряда кончалась круглой, поменьше «наседки», сопкой с обрывом. Внизу был наш поселок, и эта сопка почти нависала над ним. А на ее вершине стояли солдаты, и у них были самые настоящие зенитки. Они охраняли город от неба.

Это были другие солдаты, мы их вблизи и не видели, привыкли к своим, охранявшим завод и лагерь при заводе. У наших даже были свои семьи в поселке, правда, не у всех. Они приходили в наш клуб, в наш магазин, даже мылись с нами в бане. Мы к ним привыкли, вернее, просто не замечали: они отличались от остальных лишь формой и оружием. Мы их и за настоящих-то солдат не принимали: они ведь не воевали, а что это за работа — бандитов охранять? На сто бандитов хватило бы и одного с автоматом, считали мы, а вот, чтоб защитить город и страну от тех, кто постоянно грозил нам из-за границы, надо было быть настоящим солдатом. И оружие иметь серьезное.

Солдат на сопку подвозили на невиданных еще КрАЗах (на заводе были только полуторки и «захары»), они быстро выпрыгивали, цепочкой взбирались на сопку, а вскоре такая же цепочка скатывалась по склону. Мы это наблюдали издали, боясь приблизиться. Уже семь лет, как кончилась война, город наш был от ближайшей границы почти в тысяче километрах, но по-прежнему на этой и на других сопках стояли зенитные батареи.

Моим любимым занятием было играть в сражения. Для этого я везде — у магазина, у столовой — собирал жестяные пробки от лимонадных бутылок. Они у меня служили и танками, и пушками, и долговременными огневыми укреплениями. Время от времени старший брат делал набеги на мои сокровища: выкрадывал пробки и расплющивал их двумя булыжниками. Если мне удавалось поймать его за этим занятием, мы дрались... Когда я увлекался, то ничего уже не слышал. В каждом сражении у меня обязательно были зенитные посты.

Кажется, лишь в третьем классе я оставил это занятие, но и, когда уже служил в армии, клацанье автоматного затвора, щелчки патронов при зарядке магазина напоминали мне тусклый звон жестяных бутылочных пробок.

Впрочем, в войну тогда, наверно, играли все. И сегодня для пацанов это одно из любимых занятий. Одно из... А тогда было только оно. И когда мы в первый раз тайком решили пойти на самую высокую сопку, то сделали это в честь нашей первой победы: в тот день нас впервые приняли в свою компанию старшие пацаны и мы почти на равных с ними дрались против Первой линейки.

Это было заведено до нас — когда только появились Первая и Вторая «линейки»: два ряда двухэтажных деревянно-засыпных домов, по пять в каждом ряду. Их-то и называли «линейками». Между ними было метров сто пустырей и огородиков, а посередине — заброшенная кочегарка с поваленной трубой. Дома эти построили перед войной, а кочегарку забросили уже после, когда тепло в дома пошло с большой заводской котельной. В развалинах кочегарки мы как-то нашли (я тогда был уже в шестом классе) проржавевший ручной пулемет. Говорили, что его спрятали военнопленные японцы, работавшие в кочегарке после войны. Из-за этого пулемета дрались уже целых три поселка: мы объединились с Первой линейкой против пацанов Зеленого, которые выкрали пулемет с чердака одного из наших сараев, из тайника при штабе. Тогда была большая драка и, как обычно, — камнями. Кидали камни пацанов по пятьдесят с каждой стороны, а другие им подтаскивали «снаряды». Тот бой мы выиграли, пулемет нам вернули, так как у нас опыта было больше: Зеленый стоял на отшибе, пацаны там между собой воевали редко, а мы между «линейками» дрались постоянно, переставая только, когда из-за разбитых окон в дело вмешивались взрослые. Но для меня драка из-за пулемета, кажется, была последней.

Дело в том, что я швырял камни далеко и метко. И попал в одного из «зеленовцев». Он схватился за голову и упал, а я заорал от восторга:

— Попал, попал!

К лежащему подскочили несколько пацанов, потащили его, а мы бросились вперед. Конечно же, тогдашнюю победу я приписывал себе и потом приставал к каждому:

— Видал, как я его!

А ночью я проснулся от собственного крика. Мне приснилось, что я убил этого пацана и что утром меня придут забирать в колонию. Нас тогда часто пугали колонией, кое-кто в нее и попадал...

Я, к счастью, не стал убийцей в свои тринадцать лет, так как такой случай стал бы известен в тот же день. Но увечий и шрамов от камней в те годы было столько, что на них обращали внимание только в семье. Допытываться же, кто виновник,

было бесполезно: мы друг друга не выдавали. Ведь не из какой-то особенной злобности мы дрались, споры возникали за территории, за переманивание сторонников, а часто просто так, ради интереса, чтоб доказать, что «наши» сильнее. Это уже позже, в шестнадцать и старше, многие из тех, кто вовремя не отошел и не занялся делом, также бессмысленно, но уже с озлоблением стали участвовать в жестоких драках, с поножовщиной, и во многом другом подобном... Но все это для нас придет позже, тогда же мы только осваивались.

...Нас было трое — Вовка, Борька и я. Жили мы в одном доме, только в разных подъездах. У двоих отцы служили в колонии при заводе, у третьего отец был мастером на заводе. Всем троим в том году предстояло идти в первый класс. А пока было начало апреля, утром мы выиграли первый бой, а после обеда, когда родители ушли на работу, отправились на сопку искать крыло самолета, а заодно посмотреть, что за мир открывается с такой высоты.

Снег в том году сошел рано, но было прохладно, и камни, которыми мы по пути набивали карманы, собирая их на обочинах или в канавах, куда их отбрасывало колесами грузовиков, были ледяными. Камни подбирали такие, чтобы их удобно было держать большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным, — лучше всего овальные, потому что круглые встречались редко, а плоские или изломанные кувыркались в воздухе и попадали не туда, куда хотелось. Я первый научился ловко швырять камни, а Борька так и не одолел эту науку, кидал будто из-под мышки (мы это называли «по-бабски»), и камни у него летели куда попало, бывало, даже в своих. Он потом отошел от нас, занялся баяном, это у него получалось гораздо лучше. У него были удивительные пальцы — длинные и гибкие. Потом я где-то вычитал, что такие пальцы бывают у музыкантов и карманников.

Быстро научился кидать камни и Вовка. Мы с ним это часто делали на спор. А потом и во многом другом стали соперниками, конкурентами. По части девчонок тоже. Я, например, страшно завидовал ему, что он первым познал женщину, а ко мне они были равнодушны. Зато после он признался, что мучился из-за долгой и серьезной моей переписки с девчонкой из младшего класса, которая потом ждала, но так и не дождалась меня из армии. В девятом классе мы вместе с Вовкой таскали спирт из школьной лаборатории, из колб с лягушками. Потом как-то разошлись, попали во враждебные поселковые группировки. После одной из драк, как тогда говорили, «на выезде», его группа кого-то сильно покалечила, и Вовка чуть не угодил в тюрьму. Видимо, это его сильно отрезвило, он пошел в вечернюю школу, стал работать на заводе, потом учился в институте и теперь неплохой организатор-администратор. Все трое были вроде бы из благополучных семей, а что стало с теми, у кого отцы или матери, а то и оба, сидели в лагерях?..

Мы шли и расстреливали камнями консервные банки, комки бумаги, вытаявшие из-под снега, доставалось и кошкам, жмурившимся у калиток на весеннем солнышке. Если на дороге не видно было взрослых, начинали обстреливать белые ролики-изоляторы на столбах, но ни разу не попали, зато Борьке отскочивший от столба камень врезал по голени, после чего он брел, прихрамывая, за нами.

Вовка лучше нас знал обходную дорогу. Она сперва приводила в маленький поселок подсобного хозяйства — на склоне за сопкой с солдатами, — а потом по распадку поднималась на большую поляну, как раз позади сопки с клювом, — то есть, как мы очень надеялись, с самолетным крылом.

У Вовки в этом поселке были знакомые. И зимой они с отцом ездили на лошади, запряженной в сани, за елками к Новому году как раз по этой дороге — через поляну и в тайгу, она как раз тут начинается. Все это Вовка рассказывал на ходу, причем главным образом для меня, с торжеством в глазах. А в доказательство по-

казывал на черные лошадиные котяхи, разбросанные на дороге и полураздавленные полозьями. Здесь снег растаял мало, — это был северный склон гряды.

— И я тут катался! — гордо сказал Вовка, показывая на укатанную санками дорогу. — А вас сюда не пустят поселковские. Вот если только со мной.

...На самой поляне, открытой солнцу, снега уже не было, но налево, по склону, ведущему к нашей вершине, он еще, хотя и мокрый, осевший, лежал. Тут мы брели, помогая друг дружке: склон становился все круче. Обуты мы были, конечно, в ботинки, так что и брюки и ноги скоро промокли. Но до того ли было! Мы цеплялись за ветки орешника, за стволы тонких березок, вытягивая себя наверх. Едва отдышавшись за толстыми стволами сосен, снова лезли вверх. Под самой вершиной каменистый горб был без кустов, сухой — на его крутизне даже снег не держался. Только посерединке торчал небольшой трухлявый пенек.

— Может, обойдем? — предложил Борька, когда мы сели передохнуть перед последним препятствием.

Обойти можно было и слева, и справа. Там от вершины к соседним сопкам спадали седловины, и по гребню легче было добраться.

— Кто налево пойдет — волку в пасть попадет, — рассудил Вовка.

— А кто направо пойдет — тому от матери достанется, — мрачно сказал я, глядя на размокшие ботинки, забитые между шнурками рыжей хвоей.

— Вперед! — скомандовал Вовка, и мы рванули на приступ.

Срываясь, скользя мокрыми подошвами, разрывая на коленках брюки, позабыв о солдатах с зенитками, а потому и вопя истошно «ура!», мы кое-как вскарабкались к пеньку, где и поспали, задыхаясь, но все-таки зацепившись за него. Отсюда склон шел вверх полого, и Вовка предложил ползти дальше на брюхе и врассыпную: на случай, если на вершине засел враг и его надо сбросить.

Предложение нам понравилось. У каждого за поясом было по деревянному пистолету, мы их приготовили к бою. В то время еще делали красивые резные пистолеты, очень похожие на настоящие, со всякими штучками — насечками, мушками, прицельной планкой, предохранителем, даже ствол прожигали каленым гвоздем. Все это, говорили, пошло от военнопленных японцев, которые мастерили такие пистолеты за папиросы. Позже сделанные пистолеты были уже простыми деревяшками, лишь на первый взгляд похожими на оружие. Пропахав брюхом еще метров пятнадцать, оставив на камнях нитки и пуговицы, мы наконец выскочили на вершину с криком «ура!» и замерли.

...Все-таки снизу вершины кажутся не такими, как на самом деле: ни по высоте, ни по значению. И, наверно, оценить их по-настоящему можно только в детстве, а не впоследствии, когда тебя уже и перекосит не однажды, и веришь уже в очень немногое...

Тогда я не знал еще слова «панорама». Но я вспомнил в тот момент географическую карту. У нас дома была большая карта полушарий. Я елозил по ней на коленках, читал по складам названия морей, где сражался с пиратами... Вот такая карта открылась сейчас передо мной, и, конечно, воображение мое тотчас разыгралось.

Я был в самом центре карты, и она тянулась во все стороны, нигде не кончаясь. Мы уже знали, что Земля круглая, но для нас она была еще и бесконечной. Назад смотреть было неинтересно: там шла волнами по сопкам сплошная тайга, только далеко-далеко видны были высокие заснеженные горы, горевшие голубым пламенем. Меня те вершины — хребет Мяочан — потянут потом, когда мне захочется стать геологом.

А вот впереди... Прямо от ног — вперед и в стороны — разбежался город, и он показался мне огромным, с бесчисленными домами и улицами... И только вдаль, на горизонте, как сверкающий голубой обод, город опоясывала лента Амура, еще

не освободившегося ото льда. А за рекой, уже подпирая конец неба, по всей длине реки стояли темно-синие сопки. Но я знал, что и за сопками небо не кончается, и там неведомые земли, а слева, куда вдалеке исчезала голубая река, должен быть безбрежный океан. Может, он там прямо и начинается, и по нему можно плыть куда угодно по всему свету. И мне хотелось в теплые страны, потому что зимы у нас были длинные и очень холодные, а лето комариное и короткое, так что не успеваешь набегаться голяком.

Потом мы стали разглядывать город, и чтобы не путаться, решили это делать слева направо. Тут выяснилось, что мои друзья знают город лучше меня, так как родители вывозили их из дома чаще. Я, конечно, немного обиделся, пытался объяснить, что у меня больше братьев и сестер, потому и внимания каждому поменьше, но это Вовка и Борька пропустили мимо ушей.

Итак, слева вдали были видны озера, куда ездил на рыбалку с отцом только Борька.

— Видите: шоссе пересекает железную дорогу и проходит через поселок, а потом она пропала... А за высоким забором — это там лагерь, эков держат. Эти эки, как наши, тоже на заводе работают, только у них там бензин, — отец говорил. А дальше, смотрите: уже другой поселок, наверху, а за ним дорога на озеро. Ух и далеко! Зато какая рыбалка!..

Про поселок Дземги мы долго не говорили, он все-таки рядом с нашим, туда нас не раз возили в больницу, там и роддом был, кто ж не знает, что там делают самолеты. Там и лагерь свой, а еще дальше, на Старой площадке — большие белые бочки с нефтью, там тоже лагерь, так что ничего интересного. А вот нефть, говорили, аж с самого Сахалина перегоняют, — это большой остров в океане, я его видел на карте...

В нашем поселке мы нашли свой дом, определили: нет ли шевеления среди противника с Первой Линейки. Потом подробно разглядели завод, пытаюсь угадать, в каком из краснокирпичных корпусов работают наши родители. Дальше, за заводом, был «наш» лагерь, тоже за высоким забором и с вышками по углам, а за ним начинался большой лесной массив. И опять выскочил Борька, — оказывается, отец и туда водил его на рыбалку: на Силинку, горную речку, впадающую в Амур. Они там ловили ленков. Конечно, и меня отец мог бы туда сводить, но ему все некогда, все работает, чтобы всех прокормить. За чем же наплодил нас столько?..

Спецом по городу был Вовка. Мы так и говорили: «город», потому что самый центр был там, за Силинским парком. Но тут-то как раз Вовке не повезло. Парк был очень большой — высокий и широкий, так что видно было в дымке лишь множество труб, несколько высоких крыш — и все. Хотя Вовка и уверенно говорил, что если повернуть налево у управления лагерей, то сразу попадешь на главную городскую улицу имени Кирова, а по ней, если ехать до конца, — к заводу, где строят суда, даже океанские. Отсюда, с вершины, все это видно не было, а потому мы слушали Вовку рассеянно, перебивали, а вскоре переместились на правый фланг, где хорошо был виден еще один завод, гораздо крупнее нашего, со множеством красных труб.

— Это Амурсталь, — сказал Борька, и тут мы сразу поверили, потому что много слышали про этот завод. К тому же мы сверху разглядели, что в ту сторону от нашего завода идет железная дорога, а по ней, мы знали, на Амурсталь везут металлолом. Неподалеку от Амурстали видны были четкие квадраты двух лагерей.

— Все-таки большой наш город, — сказал Вовка. — Наверно, самый большой на Дальнем Востоке, куда там Хабаровску, — тот еще до революции буржуи строили, а наш — уже по-новому, весь народ.

— Пока мы вырастем, уже и строить будет нечего, — забеспокоился Борька.

Мы ненадолго приуныли, но потом вспомнили, что по радио говорили о необходимости осваивать огромные пространства Сибири. Ох, что еще предстоит! И ветер бродяжничества влетел в наши души на той вершине, мы готовы были рвануть в неизведанное. Не знали и не чувствовали тогда, как мертвый груз и груз мертвых тяжело будет держать ноги и души. Тогда все было еще впереди, в том числе главное — познание.

...Крыла самолета мы на вершине не нашли. Была, правда, под тем знаком из трех высоких стальных труб большая яма. Наверно, кто-то выкопал и утащил крыло. Это нас, конечно, огорчило. Но не сильно. Мы ведь очень многое увидели с той вершины.

ПАТЕФОННЫЕ ИГОЛКИ

Я собираюсь травить собаку. Гонять собак или кошек камнями — для того времени дело обычное, на наших глазах среди взрослых происходило кое-что похлеще, но к этой собаке у меня, да и не только у меня, счет особый. К этой стерве никак не подходит слово «добрая». Она живет в соседнем подъезде, и после обеда хозяева, уходя на работу, выпускают ее во двор. В это же время, что-нибудь наскоро перекусив, во двор выскакивают и пацанва, и девчонки. Первая смена в школе отсижена, начало октября, еще тепло, можно поиграть в лапту, казаки-разбойники, а можно в пристенок, если есть деньги. Вот тут-то эта Стерва — а иначе мы ее и не звали, хотя кличка у нее была Ляля, — и начинает охоту.

Поначалу она лежит в подъезде, у самого выхода, за приступком. Высматривает жертву. Затем приподнимается и медленно, словно от нечего делать, выходит из подъезда. Это означает, что кто-то забыл о ее существовании, заигрался, забегался, и теперь Стерва крадется к своей жертве. Обычно она выбирает того, кто сзади всех и стоит к ней спиной. Последние пять метров Стерва Ляля пролетает стрелой и пребольно кусает чуть выше пятки. На весь двор раздается сначала испуганный визг, а затем рев от боли. Собака возвращается тотчас к подъезду и оттуда смотрит на укушенного, чуть наклонив голову набок и умильно подрагивая хвостом.

Вот так она смотрела полмесяца назад на меня, когда я, упав от боли на задницу, держался за правую пятку и кусал губы, чтобы не зареветь. И теперь я сижу на кухне и начиняю одну из булочек (их вчера напекла мать) патефонными иголками.

Я долго искал, как расправиться со Стервой. С ружьем мне не сладить, еще мал весом и ростом. Какой-нибудь порошок сыпануть, а какой? У матери есть в ящике, но кто их разберет, может, еще злее кусать будет. И тогда я остановился на иголках. Представил, как Стерва проглотит их вместе с булочкой, как она будет кататься и выть от боли. А иголки я выкрал из патефона у сестер, одиннадцать штук.

Булочка вкусная и, как мне кажется, Стерва должна на нее клонуть. Дело в том, что в ее нападениях была какая-то непонятная регулярность, делала она это раз в пять дней, словно подчиняясь неведомому инстинкту. А потом бегала по двору, обнюхивала, как все собаки, помойки. Если кто-то предлагал ей кусок хлеба или еще что, она съедала. Но никогда не брала из рук, молча стояла и ждала. А когда ела, то поглядывала одним глазом: на достаточном ли расстоянии дающий. Была она очень аккуратной — Стерва Ляля. И ела не торопясь, даже не чавкая, как это делают все собаки. И росточка небольшого, зато вся подогнанная, поджарая, точь-в-точь немецкая овчарка, только вполовину уменьшенная. И расцветка такая же серая, с небольшими подпалинами. Кстати, ее и называли немецкой овчаркой, я не

знаю почему, может быть, они и есть такого размера. Но тогда я соотносил слово «немецкая» совсем с другим, с ее хозяевами.

Дело в том, что ее хозяев, мужа и жену, выпустили год назад по амнистии пятьдесят третьего года, а были они в войну полицаями. Поселились они в нашем доме, в коммунальной квартире. Он, как и в колонии, работал инженером на заводе, а она — не помню. Тогда же, сразу после освобождения, он куда-то съездил и привез вот эту Лялю.

Была она немолода, на брюхе виднелись чуть отвисшие соски. Лая ее я не помню, кажется, она никогда это и не могла, а только чуть взрычивала, вздернув верхнюю губу, если кто пытался замахнуться палкой. Соски у нее были, а вот щенят нет. Это я знаю точно, потому что мы не хуже собак знали все сараи и сараюшки, чердаки и закоулки, находящиеся в нашем дворе. Знали также, какая и где собака прячет своих детенышей. Да мы их и сами старались уберечь от глаз взрослых, хватало у нас и тех, кто продавал собак заключенным для еды, шили из собачьих шкур шапки, рукавицы, обувь. Иную собаку мы и сами забивали камнями. Стерва Ляля была слишком умна, чтобы позволить сделать это с собой.

Дырочки от иголок я слегка замазал сырым тестом: развел немного муки молоком. Молоко у нас было свое, держали корову, разрешалось как многодетной семье. А тесто я научился разводить вот уже как год и два месяца, как раз ко второму классу. Жидкое или густое тесто, смотря для чего: для блинов или оладьев. Когда я начинал стряпать, к дверям кухни выстраивалась очередь. А я закрывался на крючок, чтобы блины мои не растащили. Мне из-за дверей кричали: «Жадина! Буржуй!» — а мне просто хотелось посмотреть: сколько же блинов получится из всего приготовленного теста? Я их старался делать как можно более тонкими. А потом распахивалась дверь, влетала орава сестер и братьев, вспухивала легкая свалка у стола, и блины быстро исчезали.

В своем изделии с иголками я был уверен. Видимо, так же уверены — по неопытности — все те, кто замышляет, или как-нибудь попроще сказать, не таким зловещим словом... ну, в общем, подобное дело.

Я понимаю одного моего знакомого, когда он обижается на мать-природу. Обидно, конечно, когда сволочью оказывается внешне красивый человек. Для меня лично вдвойне-втрое обидно, если по секрету, когда таковой является красивая женщина. А тут, еще в детстве, довелось споткнуться о красивую собаку Стерву Лялю. Да что поделывать? Такая уж она бестолковая — наша мать-природа.

Вышел я однажды зимой, трехлетний, закутанный, поверх всего материнной шалью обвязанный и ею же перепоясанный. Увидел корову, тоже выпущенную погулять, и к ней с добром: «Миля, Миля...» А она набычилась, нет, накоровилась, и ко мне, и зацепила рогом, да через себя перекинула. Не любила почему-то маленьких детей. Слава богу, зацепила за шаль, а не за лицо или чего-нибудь еще. Перекинула, значит, и разворачивается. Двор визжит, отец впереди матери из дома летит с топором, а я растерянно: «Миля, Миля...» Не больно мне, но странно: я же к ней с лаской.

Это, кстати, самое первое мое воспоминание. Наверное, самые первые и прочные так и складываются — из встрясок и шрамов. Вот и Стерва Ляля. Кто знает, как ее приучали? Может, на ее глазах ее же щенят топили, чтобы она стала людей ненавидеть. Или еще как-нибудь.

Но легко мне сейчас рассуждать. А тогда, естественно, ничего такого в голове моей не было. Я должен бы отомстить Стерве. Единственное, о чем я жалел, что иголки все-таки толстые. Но швейные тогда были наперечет, мать их очень берег-

ла. И все-таки еще одно оправдание: взрослые нас от Стервы Ляля защитить не хотели. Они верили хозяевам, что мы сами задразниваем собаку. Лишь отец мой понимал, что к чему. Но он не хотел вмешиваться, чтобы его не обвинили в особом отношении. Как-то отец, мать и я были на кухне (а жили мы на первом этаже) и инженер с женой проходили под окном. Мать спросила:

— А почему они не уедут?

— Боятся, — сказал отец.

Смысл этого короткого ответа я понял гораздо позже. Но тогда, помолчав, отец добавил:

— Других-то еще держат. И за что?.. А этих...

Отец в те последние годы был сильно измотан, по ночам во сне кричал и страшно скрипел зубами.

— А что же он — хороший инженер, а в полицаи пошел, — словно продолжая давний разговор, спросила мать.

Отец молчит.

— А этого, который нашему губу зашивал, — мать кивает на меня, — все еще не выпустили?..

— Да чтоб ты!.. — летит в сторону газета, которую отец читал матери, пока она чистила картошку. Сам он уже во дворе, невысокий, быстрый, шагает широко к сараю. Но мать тоже чем-то недовольна. Отец взрывной, но мать упрямее и не так покладиста, как может показаться с первого взгляда. Ну а я — немой свидетель этого непонятого спора — вижу только одну причину: инженера с его женой. И, конечно, их «немецкую овчарку» Лялю. Так что в тот день, когда я кладу булочку с иголками в карман, у меня есть еще кой-какие веские доводы в пользу замышляемого мною.

И вот я на улице. Стерва Ляля лежит у своего подъезда. У нее сегодня день отдыха, так как вчера она обработала очередную жертву — мою одноклассницу Людку из квартиры напротив. Людка сегодня не выходит и в школу не пошла, хотя и могла. Не хочет, и есть на что сослаться.

Между прочим, у нее бабка — мирово заговаривает всякую боль. Когда в первом классе на ледяной горке отбил себе, как мать сказала, копчик, бабка в неделю все боли сняла. А болело здорово, думали, что трещина в кости есть. Бабка сажала меня на табуретку, ставила мои ноги в тазик с бурой и чуть теплой водой и начинала что-то пришептывать, перебирать пальцами над водой, водить ладонями вдоль ног, не касаясь их. Я дремал и, чтобы не упасть, прислонялся плечом к косяку кладовки. Бабка что-то подливала в таз, опять шептала, и пальцы ее словно растворялись в воздухе, и мне казалось, что вокруг меня все вертится, я в каком-то блестящем цилиндре лежу, вытянувшись, и куда-то лечу... Тут Людка толкает меня и говорит:

— Ну что ты все падаешь? Долго мне тебя держать?

Я очумело гляжу ей в лицо, оно у нее полуцыганское, под черными сросшимися бровями сверкают черные глаза, и меня охватывает непонятная дрожь...

У подъезда, на лавочке, сидит Людкина бабка, положив подбородок на набалдашник палки, с которой никогда не расстается, так как ходит только буквой «Г». Бабка подозрительно смотрит на меня, обычно я из подъезда не выхожу, а вылетаю. Я иду к сараю, сажусь на бревно и терпеливо жду. До заводского гудка еще часа два, во дворе одна малышня да бабка. Скоро она укувыливает домой.

Я направляюсь к соседнему подъезду. Стерва Ляля лениво, полуприкрытыми глазами наблюдает за мной, подергивая ухом с черным кончиком.

— Ляля, Лялечка... — ласково зову я, добавляя про себя: «Стервочка».

Собака поднимает голову, у нее пробудился интерес. Но пока лежит.

— Ляля, — моя интонация уже просительно-укоризненная, и я протягиваю булочку. — На, возьми, собачка...

Стерва Ляля лежит, вероятно, наслаждается, ведь с такой интонацией к ней обращаются, когда пытаются пройти в подъезд. Я делаю еще один шаг, но он лишний: у Стервы вздергивается верхняя губа, глухой рык... Я отступаю и кладу булочку на тротуар. Собака смотрит и ждет, пока я удаляюсь от нее метров на пять. Тогда она встает, подходит к ней, неторопливо обнюхивает. Сердце мое прыгает от желудка до горла. Наконец Ляля-Лялечка берет булочку и начинает ее жевать. От волнения я приседаю на корточки и даже оглядываюсь: не идет ли кто из взрослых. Но вдоль домов никого не видно, и я оборачиваюсь к дорогой моей Ляле.

Она жует, жует все так же медленно, тщательно, даже из углов ее пасти вниз протянулись тонкие струйки слюны. Я сижу на корточках и поторапливаю ее, не такая ж у меня была большая булочка, чтобы жевать ее до самого заводского гудка. Пусть только все съест, до последнего кусочка, а умирает, нет, подыхает, пусть где угодно, а лучше на глазах хозяев, воспитавших такое подлое чудовище.

Но Ляля все жует, так же медленно, как люди жуют карасей, боясь подавиться костями, которых в карасях видимо-невидимо. Все так же вниз тянутся струйки слюны, и вот в них блеснули, нет, не косточки — иголки. Одна, две... четыре... семь... одиннадцать. Они спускаются в пенисто-пузырчатые лужицы и замирают там. Замирает где-то внизу и мое сердце, я потерянно опускаюсь на копчик.

Стерва Ляля медленно дожевывает последний кусочек и ждет, поглядывая на меня, чуть склонив голову набок, и подрагивает в умилении хвостом. Не дождав-шись следующей порции, возвращается к своему подъезду и ложится, оглядев по-хояйски двор. А я подползаю на коленках к слюнявым лужицам и начинаю щепочкой выгаскивать патефонные иголки. Хоть сестры не будут ругаться за пропажу.

ВОЗДУШНЫЕ МОСТЫ

Мой первый космический аппарат прилетел ко мне, когда я еще не ходил в школу и только учился по слогам читать. Эта конструкция опустилась за нашим домом неподалеку от разбираемой старой кочегарки. Я еще боялся, что аппарат заденет за высокую трубу, и все, кто в нем летит, погибнут. Потом вспомнил, что трубу свалили еще неделю назад. Она грохнулась так, что в полукилометре на заводе что-то заскрежетало и завизжало, будто кошачья стая, вокруг разбросало снег и закружилось рыжее облако. Вспомнив об этом, я успокоился, вскочил с кровати и кинулся к балкону. Хотел выскочить, но дверь была еще по-зимнему законопачена и к тому же разбухла от мартовской сырости. А из окна было видно лишь разрушенную кочегарку. Я бросился одеваться, чтобы бежать во двор, но меня перехватила мать:

— Ты это куда собрался-то?

— Пусти, мам, пусти! Улетят ведь без меня.

— Кто улетит, куда?

— Ну там, за домом... С другой планеты.

— Очумел? С какой еще планеты? Ну-ка быстро в постель, у тебя ведь температура!

— Ну почему ты не веришь? Иди сама посмотри, они за кочегаркой сели!

Мать укладывает меня в постель, уговаривает, сидит рядом, пока я не перестаю плакать и упрашивать. Уже уверенный, что они улетели, я лежу, отвернувшись к

стене, перед глазами плотная ткань с каким-то странным рисунком, где повторяются спирали и стремительные штрихи, от этого становится еще грустнее.

Мать, решив, что я задремал, подходит к окну, долго дергает, вполголоса чертыхаясь, форточку. Наконец распахивает ее. Подставляет стул и высовывается на улицу. Томительно тянутся секунды, из большой комнаты доносится мерный стук ходиков, я жду, что мать все же что-то увидит.

Вот она закрывает форточку, отодвигает стул, чего-то медлит, и я понимаю, что поздно, — улетели... Мать подходит к койке, я поспешно закрываю глаза. Прохладная ладонь ложится мне на лоб, как бы вслушиваясь в меня. Мать вздыхает, уходит и тихо закрывает дверь. Я тут же бегу к форточке, бесшумно подставляю стул, высовываюсь и долго всматриваюсь в пустырь. После этого болею еще три лишних дня.

...Я в гостях у Олега. Сижу и слушаю, как он долбит на пианино свои гаммы. Олег младше меня на год, он ходит во второй класс, а я уже в третьем. Но у Олега есть пианино, и в этом году он пошел еще и в музыкальную школу, а у меня всего этого нет... Музыкальную школу только что открыли в поселке. Преподают там жены эзков, которых вот-вот начнут выпускать: уже ноябрь пятьдесят четвертого.

У Олега в квартире чисто и тихо. Мы сидим в самой большой — северной, полутемной комнате. За стеной, на кухне, мать Олега стряпает пирожки, и это меня интересует не меньше, чем пианино. В соседней комнате, окнами на юг, живет Олегова бабка... Ей, наверное, лет сто, она ленинградка, как и Олеговы родители, и ее привезли сюда сразу после войны, когда отец Олега вышел из лагеря. А в самой маленькой комнате — сестра Олега. Она намного старше его: с тридцатого года. Отец и не видел ее: когда она родилась — его как раз забрали. Сестры сейчас дома нет, она учительница, преподает в школе русский язык. Замуж она пока не вышла. Отец Олега тоже сейчас на работе, он повар в заводской столовой, а в Ленинграде до ареста был шеф-поваром в одном из лучших ресторанов. Посадили его, как я потом узнал, не за воровство, а за «связь». В сорок пятом его выпустили, — то есть из колонии при заводе он перебрался в поселок, а работать остался в той же столовой. К нему приехала семья, через год родился Олег.

В их квартире много воздуха, просторно и даже торжественно. Или мне так кажется после нашей квартиры, тоже трехкомнатной, но переполненной бестолковым движением. У нас всегда тарарам, даже когда мы делаем уроки и кричим друг другу: «Тише ты! Да тише же, кому говорят!» Торжественность Олеговой квартире придает пианино: оно черное, блестящее, строгое, и даже гаммы здесь не стучат в стены, а будто плывут в тишине, в полумраке комнаты... Я сижу на краешке стула и слушаю.

Иногда Олег делает передышку, и тут же в дверях появляется его мать — небольшого росточка, круглолицая, вся матового цвета — и лицо, и одежда. Олег делает вид, что разговаривает со мной:

— Да что ты так сидишь? У стула же спинка есть, сядь нормально.

Олег сидит на круглом с винтом табурете, и ему откинуться некуда. Похоже, он мне завидует. И еще ему почему-то хочется к нам, — может, потому, что нас в квартире много. А мне домой не хочется: у нас нет пианино. Мать, когда я заикнулся, сказала, что у нас тесно — все же девять человек, инструмент ставить некуда, — и отвернулась. Я все понял и не стал больше об этом говорить. Через год-два я уже буду помогать старшему брату пасти поселковых коров, чтобы заработать, — где уж тут пианино.

Олег в своей семье поздний ребенок и единственный мальчишка. Его никуда надолго не отпускают, а я этому только рад: прихожу, когда он играет, и слушаю музыку. И, странное дело, его это вроде дисциплинирует. Олеговы родители это

тоже замечают и поощряют мои приходы. Олег играет уже неплохо. Мне иногда кажется, что я тоже так бы смог, но не решаюсь попробовать и лишь поглаживаю черные блестящие клавиши.

Мне все хочется рассказать Олегу про космические аппараты, которые я не раз уже отчетливо видел, и уверен, что не во сне, а наяву, и про то, в каком месте они приземляются. Я даже рисунки успевал делать по памяти. Обидно только, что никогда не удастся добежать до аппаратов, они всегда торопятся взлететь. И поэтому можно только разглядывать их издали, присев на корточки. Чаще всего они похожи на решетки с шарами, которые я видел в учебниках по химии у старших сестер. Но бывают и другие. Эх, была бы подмога! Я бы мог вот так сидеть, а Олег осторожно подкрался бы сзади или сбоку, и тогда инопланетяне, может быть, вышли и с нами заговорили. Я бы им рассказал, что во сне часто летаю в космическом пространстве сам по себе и встречаю их корабли, вечно куда-то спешащие. Рассказал бы им, что мне бывает скучно на Земле, а играть мне не дают, особенно старший брат все время мешает. И что я бы с радостью улетел вместе с ними, только маме оставил бы записку, чтоб не волновалась. Я люблю музыку, а в космосе очень торжественная музыка, я бы только ее и слушал.

Да, очень хотелось рассказать обо всем этом Олегу, но всегда что-то меня останавливало. Все же он какой-то ерзанный. Поймет ли? К тому же он на год младше меня и учится с моей сестрой Лидкой, а девчонок я презираю. В общем, это сложно объяснить...

Но вот что мне больше всего мешает довериться Олегу, так это его отец. Я его боюсь, хотя, кажется, ни разу не слышал его голоса. Олег его, по-моему, тоже боится. Может, отец его лупит? Мне, например, от моего достается: он у нас взрывной. Иногда мне даже хотелось оказаться найденышем, чтоб после очередной взбучки горько и гордо кинуть ему в лицо: «Вот как ты с неродными-то поступаешь? Ладно, я уйду!» Хотя в нашей семье всем поровну доставалось — сами напрашивались.

Да, так вот: Олег боялся своего отца. Как-то той же зимой мы возвращались из школы, а его столовая была по пути. Она считалась заводской, но находилась не на территории завода, а недалеко от проходной. Я предложил Олегу:

— Давай пойдем, твой отец нас накормит.

— Нет, не накормит, лучше дома поедем, — а голос все же неуверенный. — Дома же все есть.

Дома у них, и правда, все было. Мать стряпала только пирожки с рисом и яйцами — они у нее всегда пышными получались, зато отец делал все остальное: и хворост сладкий, и борщ, и кулебяку, и много чего еще... Но из форточек столовой тянуло так вкусно, а вместе с клубами пара из дверей, то и дело распахиваемых, выбрасывало такие запахи, что у меня желудок будто заквакал.

— Ну давай, Олег, чего ты, чего страшного?

Все-таки он пошел. А минут через пять вернулся, глаза прячет, молчит. Иду я рядом, тоже молчу, несу его портфель. У самого его дома забрал он портфель.

— Говорил я тебе, — а голос тоскливый-тоскливый. И к себе домой не позвал.

Отец Олега был высокий, худой, большоголовый. Лицо темное, с крупным носом и тонкими губами, с тяжелым подбородком. А волосы, как и у жены, — седые. Когда Олег занимался музыкой, а я сидел рядом, он никогда не входил в комнату. Остановится на минуту в дверях, посмотрит и исчезнет. Во мне тогда что-то замирало, в Олеге, наверное, тоже, потому что в аккордах возникал еле заметный сбой. Иногда мне казалось, что отец Олега хочет что-то сказать, причем именно мне, а не сыну. Может, мне просто хотелось так думать, ведь мне доставалась лишь

малая часть родительского внимания, разделенного на многих детей. К тому же мои отец и мать были задерганы ежедневными заботами о еде, одежде, хозяйстве.

Вот в такие минуты, видя, как Олегу не по себе, мне и хотелось рассказать ему о своих космических встречах, и я удерживался из последних сил. Мы с трудом досиживали до конца его музыкальных занятий и мчались во двор. Там недавние переживания тотчас пропадали, там была другая жизнь.

Зима в тот год выдалась теплой, а многоснежными наши зимы были почти всегда. В ноябре и декабре у сараев, за огородами вдоль изгородей, наметало высокие и длинные сугробы. Зимой взрослым там делать было нечего, и тут начинались наши владения. Траншеи, подземные переходы, блиндажи тянулись в этих сугробах на сотни метров. В некоторых блиндажах можно было встать во весь рост. В них мы устанавливали печки-буржуйки, из досок устраивали лежанки. Старшие пацаны курили, давая затягиваться и нам, играли в карты на деньги и папиросы.

Олег с жадностью набрасывался на эту жизнь. На одной из наших старых фотокарточек он стоит с радостной улыбкой, закинув руки мне и моей сестре на плечи, в углу рта — папиросина. Все в нем клокотало, бродило, все ему было интересно, особенно неиспробованное. И у нас дома он любил бывать. За столом со всеми он становился совсем не таким скованным, как у себя дома. Я, конечно, не присматривался к нему специально, просто все это отложилось в цепкой детской памяти, а потом отсеялось, выделилось.

Обозначился, например, для меня и только намечавшийся тогда между Олегом и отцом разлад. В дальнейшем, как я сейчас понимаю, он мог запросто перерасти в тяжелый конфликт. Буйное жизнелюбие Олега, каким, наверно, в юности обладал и его отец и которому, возможно, он и был обязан пятнадцатью годами лагерей, скорее всего пугало отца, и он старался направить его так, как ему бы хотелось. Или он и меня хотел привлечь в союзники? Но это только мои предположения.

Этой зимой более или менее упорядочились мои отношения с космическими гостями и их аппаратами. Я за ними по-прежнему наблюдал, но мои знания о них стали пополняться и из других источников. Прежде всего мне попала «Аэлита» Алексея Толстого, и я тотчас ее прочитал. Нашел я эту книжку у Олега, в одном из книжных шкафов на самой нижней полке. Здесь же стояли несколько громадных томов Шекспира довоенного издания, богато иллюстрированных. Читать их я, конечно, не стал, но картинки просмотрел внимательно. Олег Шекспира тоже не читал, хотя с неохотой признался, что старшая сестра и мать пытались его заставить. А библиотека, он сказал, — еще от деда. В этом же шкафу на верхних полках стояло множество томов в красных переплетах — первый советский энциклопедический словарь. Я обратил внимание, что в некоторых томах многое заклеено или тщательно зачеркнуто чернилами. Спросил у Олега: почему это. Он побежал к матери на кухню, вернулся и сказал, что такими они получили книги из магазина еще до войны.

Кроме «Аэлиты», ничего из фантастики я не нашел. Но уже загорелся, записался в поселковую библиотеку, рылся в журналах, читал все подряд. Теперь мои видения приобретали новые формы, Вселенная раздвинулась, и однажды я ужаснулся тому, что она бесконечна, и мне никогда не достичь края, не заглянуть за него... Потом я и к этой мысли стал привыкать. Попалась книга, не помню чья, где описывались корабли со скоростью и возможностью превращения, на которых легко появиться в любом краю Вселенной. Это меня совсем успокоило, и я настроился быстрее вырасти и стать пилотом такого корабля.

К сожалению, фантастики и в библиотеке, и у моих знакомых было мало, все больше книжек про индейцев и шпионов, даже в газетах были сплошь рассказы, повести и романы про шпионов вроде «Красной маски». Но индейцы и шпионы

меня особо не интересовали. Понемногу я втягивал Олега в свой фантастический мир, пересказывая под видом прочитанного на ходу мною сочиненное. На наши вечерние посиделки во дворе приходили моя сестра, соседка Людка, еще какие-то пацаны. Иногда для разнообразия я рассказывал страшные истории, которые к концу выговаривались полупшепотом, а заканчивались воплем вроде «Черная рука!..» Девчонки визжали, из окон с руганью высовывались соседи.

Но у Олега интересы пока не определились. К тому же занятия музыкой требовали времени и усидчивости, и всю ее, сколько у него было, он тратил на пианино. И все-таки я иногда сердито ему выговаривал, что он не прочитал еще того, что надо было прочитать еще неделю назад. Он виноватился, а через пять минут про это забывал.

...Весна началась с того, что пропала знаменитая своим подлым характером овчарка — Стерва Ляля. Хозяин ее, инженер, расспрашивал всех мальчишек во дворе, разговаривал и со взрослыми, но все было напрасно — овчарка как в воду канула. А я так никому и не рассказал, что пытался ее отравить патефонными иголками прошлой осенью, даже Олегу не рассказал. И тут вдруг она пропала сама по себе.

Мартовские вьюги сменились оттепельной слякотью, потом вновь шел снег, вновь завывали вьюги. Промозглая сырость стояла на дворе все весенние каникулы. Детвора сидела по домам. И мы с Олегом почти не встречались — ко всему добавились каникулы в музыкальной школе.

В апреле начались домашние заботы — у нас были большие картофельные огороды, целое поле, где мы сажали картошку, которой кормились не только сами, но и свинья, и корова с телком. Других-то кормов, кроме сена, не было. Семенную картошку нужно было вытаскивать из подпола, перебирать, рассыпать, готовить к посадке. В конце апреля стали копать огороды, в мае пошли посадки, потом прополки и многое другое. Но у Олега начались музыкальные занятия, и я снова стал ходить к нему. Отец с матерью даже стали подумывать: не купить ли мне баян, он попроще, подешевле, чем пианино. Но баян мне не нравился.

Олег к концу учебного года играл уже хорошо. Конечно, это были простые классические вещи, а в них даже малейшую фальшь сразу заметно. К тому времени уши у меня достаточно наострились, и я сразу улавливал, если такая фальшь проскакивала. Но ошибался Олег очень редко, а когда это случалось, он искоса поглядывал на меня и, видя, что я заметил, довольно улыбался. А если я не замечал сбоя, он хмурился и повторял это место. Такая забава нравилась нам все больше.

Потом начались долгие летние каникулы, и Олег в конце июня впервые — родители до этого никогда не отпускали его от себя далеко и надолго — уехал в пионерский лагерь: на тот берег Амура, в тридцати километрах от города вниз по течению. А я остался на все лето дома: в том году ехать в лагерь очередь была моим старшим сестрам, по льготным путевкам. Зато отец впервые взял меня с братом в тайгу, и мы там учились стрелять. У меня хорошо получалось из берданки.

Как только Олег уехал — нашлась Стерва Ляля. О ней уже и думать забыли, в конце концов решив, что ее поймали зэки и съели, — такое случалось часто. А тут ко мне подошли два старших пацана, из пятого класса, и говорят:

— Дело есть. Ваш сеновал сейчас пустой?

— Да, — отвечаю. — А что?

— Кое-кого спрятать надо, только если сболтнешь...

— За кого вы меня...

— Ладно, пошли.

Мы пошли в сарай, где хранились дрова, и пробрались туда через боковую стенку: какие надо доски отодвинули — и все. Сарай у нас вообще лепили кто во что горазд: у кого коза, у тех дрова, у этих свинья, а у некоторых и корова. Сарайце, а

рядом — сараюшка, загородка какая-нибудь. Наша улица — «линейка» — состояла из пяти двухэтажных деревянных домов по два подъезда, и каждый хозяин что-то да имел. Так что вдоль домов, напротив их, шла неразбериха хозяйственных построек, в которой мы, пацаны, прекрасно разбирались и могли запросто с одного конца сараев в стенку войти и с другого выйти, ни разу при этом не появившись на улице.

В одной из таких сараюшек я и увидел... Стерву Лялю. Она сидела в углу, за дощатой перегородкой, замаскированной бочками и корзинами. А возле нее на подстилке из драных фуфаяк возились четыре серо-черных щенка. Я остолбенел. Ляля взглянула коротко на нового человека и вновь стала наблюдать за щенками, которые играли и с ее хвостом, и кусали друг друга за уши.

— Вот их и надо перенести к вам на сеновал.

— А как она сюда попала?

— А мы знаем? Шарились здесь полмесяца назад, глядь — лежит, и эти шевелятся. Ну, мы тряпок притащили, поставили перегородку, пожрать принесли. А теперь новый хозяин хочет в сарай дрова привезти, так что надо выручать.

И тут я замер. А вдруг Ляля припомнит мне иголки, если я возьму щенков на руки? Да и как пацаны возьмут, она к себе-то никого не подпускает. Недаром же ее прозвали Стервой.

Но пацаны смело подхватили по два щенка и пошли за сараями, хоронясь от окон домов. А Ляля спокойно потрусилась за ними, покачивая тяжелыми сосками. А следом и я — с телогрейками. Дорогой я думал: почему Ляля не стала цениться дома, а еще весной, задолго до появления щенков, исчезла из дома? Не доверяла даже хозяевам? А теперь, когда появились щенки — выходит, стала другой и полюбила к людям? Для меня это была такая загадка, что я решил поделиться ею с Олегом, когда он вернется из лагеря. Щенят мы спрятали в нашем пустом сеновале, но я предупредил пацанов, что к концу июля сюда будут вывозить из тайги сено.

Лето стояло жаркое, почти не было дождей. Я нашел в сарае большую алюминиевую чашку, отмыл ее и принес Ляле свежей воды. Она жадно лакала, уже не рыча на меня, а потом кормила щенят. Я по два раза в день бегал на сеновал, и мы с Лялей вроде подружились.

А события тем временем накладывались одно на другое.

Через несколько дней после первой моей встречи с Лялей поселок облетела новость: в тайге за высокой сопкой нашли человека. Застрелился из двустволки, большим пальцем босой ноги нажал на курок. Это оказался муж моей учительницы Лидиванны, работник управления лагерей. Главное, это случилось в тайге: чаще-то смерти или поножовщина происходили в поселках. А в тайге ловили беглых, там была таинственная пятая колония, ее быстро ликвидировали в пятьдесят третьем. Но чтобы человек сам ушел подальше в тайгу, спрятался ото всех и покончил с жизнью?..

Конечно, осмысливал я все гораздо позже, в старшем, зрелом возрасте. А тогда впитывал с жадным вниманием все происходящее. Не говорю уж о мелких событиях, таких как сгоревший сарай у соседей, очередная драка камнями с пацанами Первой Линейки. Больше также появилось бывших заключенных с вещмешками или фанерными чемоданами, которые ждали у перекрестка попутной машины в город, на вокзал. Загорелся среди бела дня барак, что стоял неподалеку от бани. Горел он очень быстро, от толя на крыше клубился густой черный дым, а сухие дощатые стены просто таяли в огне и обнажали внутренние беленые перегородки будто кости скелета.. Пожарные машины ничего не смогли сделать. Слава богу, никто не пострадал, говорила мать. Будет что рассказать Олегу, думал я.

К тому же я начал строить летательный аппарат. Я давно его задумывал, подыскивал место. Все должно было быть в тайне. И такое место я нашел — сеновал Олега. Он находился рядом с нашим и пустовал уже несколько лет. Когда-то отец Олега его построил, года два держали корову, но ухаживать за нею было некому: отец постоянно на работе, а мать прибалывала, да и не расположены они были к такому серьезному домашнему хозяйству. В конце концов остались лишь куры и поросенок в сарае, а сеновал использовали под всякую рухлядь. Сюда, кстати, я догадался переместить Лялю с ее щенятами.

Для аппарата я уже и материалы подыскивал. Несколько раз ходил на свалку, после первого посещения которой у меня на губе остался шрам, еще тогда, в пять лет. На свалке я нашел моток цветной проволоки, алюминиевые трубки и треугольники разной длины, обломки цветных стекол, несколько хороших кусков плексигласа, остов взрослого велосипеда без колес, а отдельно — три обода велосипедных колес, один даже со спицами. Все это я перенес скрытно на сеновал.

Оставалось теперь продумать конструкцию. Но это я решил делать вместе с Олегом, хотел и его заразить. И часто, накормив собак, сидел на ящике и представлял, как в полумраке высокого сеновала, расчерченного золотистыми струями солнца из щелей, вырастает наш аппарат, чем-то похожий на гигантскую этажерку, опирающуюся на три широкие дюзы, как раз по ободу велосипедного колеса. А в один из последних дней лета, перед самой школой, — и ну ее, школу! — разваливается крыша, и мы взлетаем! И летим — над поселком, над черной колонией и дымным краснокирпичным заводом, над городом со многими черными коробками, высокими кирпичными трубами и прямыми широкими улицами. А потом и Амур под нами, тайга без края, и другие города, где мы ни разу не были. Но прежде чем совсем улететь с Земли, мы должны хорошо опробовать аппарат, а поэтому слетаем в самые теплые места, где никогда не бывает зимы, побегаем по песку и поедим бананы, о которых, кстати, я только слышал. На минуточку залетим на Северный полюс, повидаемся с полярниками, заодно завезем им бананов. Ну вот, можно еще слетать на остров, где взорвался «Наутилус», может быть, капитан Немо все-таки остался жив. А потом... потом все, прощай, Земля!..

Такие планы я разрабатывал не только на сеновале, но и когда с матерью и сестрами окучивал картошку, она к этому времени, к началу июля, уже поднялась и кое-где зацвела. А тут еще одно событие случилось, которое меня сильно расстроило.

Играли свадьбу в поселке. Для июля это дело довольно необычное, ну да кто там разберет, в чем причина. Но я свадеб сторонюсь. Всегда мне кажется, что этот пьяный галдеж кончится чем-то недобрым, уж дракой, во всяком случае. И ничего торжественного, завораживающего, на всю жизнь остающегося в памяти... Может, и свадьбы я не видел настоящей? Или это теперь после той свадьбы засело так, что и не могу отличить белого от черного?..

Свадьбу играли наши знакомые, женился четвертый сын дяди Кирилла Меньшовина, Васька, самый смиренный в сравнении со своими братьями да и отцом.

— Во приспичило, — говорил моему отцу в кухне за день до свадьбы дядька Кирилл, уже успевший где-то перехватить. — Ни помидоров в огороде, ни огурцов, с зимы все слопали. Ты, Петрович, приходи обязательно, и ты, Степановна. Мы вас очень уважаем, справедливые вы. А мне вот досталось. Сидел, а за что? Сыновья — говнюки, не, ну Васька — тот смиренный, а эти оторвы!.. Пока отца не было, сами чуть не следом за ним. Спасибо, Петрович, хоть ты не забывал... Приходите, ладно?.. Может, что прихватите, а? Хоть шаром покати, а ему давай свадьбу, и все тут! Ну ладно Ваське-то, а все эти-то требуют, на своих свадьбах-то не нагулялись, жен гоняют теперь по углам, так на Васькиной решили еще поку-

ролесить. А мне-то чо, ну и пусть гуляют, век короткий, я-то за коллочкой сполна понял, пускай гуляют!..

Мать в большой комнате хмуро готовила подарок невесте, а отец в кухне уже прикидывал, как и выпить — и вовремя уйти со свадьбы.

...Дом, в котором идет свадьба, последний на нашей «линейке», отсюда дорога идет сначала в другой поселок, Дземги, что при самолетостроительном заводе, а затем уже в город. В жизнь, которой я еще не знаю. А свадьбу гуляют на втором этаже, нестройный гул голосов, все окна в квартиру распахнуты, оттуда несутся звон посуды, переборы гармошки и залиvistые женские частушки:

Он не хочет, а она

Вся желания полна...

Мы — вся ребятня, что осталась на лето в поселке, — сидим на бревнах у сараев. Перед нами, ближе к дому, расположились старухи (кстати, я не помню в нашем поселке ни одного старика — ни на скамейках, ни в магазинах, нигде). Они вынесли свои стулья, сидят на самом солнцепеке и смотрят в подъезд, будто самое интересное выплеснется оттуда.

И выплескивается. Из подъезда вываливается парень в разорванной до пояса белой рубашке. В руке у него сломанные белые астры. Он останавливается под окнами, прямо в центре лужи.

Я не раз вспоминал все это уже в зрелом возрасте и был благодарен судьбе, что мои родители к тому времени уже ушли со свадьбы.

— Валя! — обращается парень к свадебным окнам. — Валя, что же ты делаешь? Валуша, уходи оттуда, иди со мной!

Голос его, поначалу тихий, постепенно становится громче. Парень заметно пьян. Девчонки, что сидят рядом со мной, шепчутся. Я узнаю, что этот парень пришел на свадьбу в костюме, с букетом. Он пробыл там недолго, выпил за здоровье молодых, а потом его вывели в соседнюю комнату, сорвали пиджак и разорвали рубашку. Оказывается, он «ходил» с теперешней невестой, но Васька ее отбил. А невеста-то — тьфу, глядеть не на что, — мелкота, тихоня.

— Валя, иди ко мне, уйдем отсюда! — уже кричит парень.

Свадебный гул притихает, кто-то выглядывает из окон. У меня холодеет внутри, мне очень хочется, чтобы парень поскорее ушел. В его голосе такая безнадежность и такой надрыв, что за него страшно. А еще я знаю, какими жуткими в поселке бывают пьяные драки, какая в них выплескивается спрятанная до того ненависть. А еще я знаю, кто такие братья Меньшовины.

Из подъезда выскакивают мужики и женщины, уговаривают стоящего в луже парня, но он их не слышит, смотрит на окна и кричит:

— Валенька, да не... да не... да что ты делаешь, опомнись!

И тут из подъезда показывается жених — его оттуда вышвыривают братья. Он куда мельче парня, но в руке у него — сверкающий на солнце нож. Старухи на стульях начинают визжать, но этот визг скорее поощряющий, чем запрещающий.

— Валя, я счас приду к тебе! — несется из лужи.

От этих слов Васька звереет. Он бежит к парню, размахивая ножом, но его перехватывают те, кто выскочил раньше. Нож летит в сторону, а Васька с размаху бьет парня ногой в грудь. Я весь сжимаюсь. Васька — оттого, что так высоко задрал ногу, шлепается на зад. А парень, прижав к груди руки, падает на колени прямо в лужу, и подбежавшие Васькины братья начинают месить его ногами и кулаками. Парень вяло отмахивается, рубашка на нем повисает клочьями, с лица бежит кровь, и наконец он ничком падает в лужу...

Свадьба всасывается в подъезд, гул из окон на втором этаже становится громче. Старухи со своими стульями расходятся. Парень лежит в луже лицом вниз. Я боюсь,

что он захлебнется. Но вот он поднимает голову, мотает ею, встает на колени и долго стоит так. Уже и пацаны разбежались, и свадьба притихла, когда парень наконец поднялся на ноги, содрал с себя остатки рубахи и, не оглядываясь, двинулся в сторону Дземога, в другой поселок. Я увидел его глаза: запавшие, измученные, ничего не замечающие... Подумал: вот и об этом расскажу Олегу.

Два дня спустя я чистил на кухне картошку, а мать возилась у плиты, иногда покрикивая на меня:

— Толсто, толсто берешь!

А я думаю о своем, и кожура с ножа действительно сползает толстая. Мне хочется расспросить мать о том парне, но я не знаю, как к ней подступиться: в кухне жарится, время уже к обеду, мать торопится, вся распаренная, от вопросов просто отмахнется.

Тут хлопнула входная дверь, и в кухню влетела сестра Лидка:

— Мам, мам, там тебя зовут, помочь надо!.. — голос у нее дрожит.

— Кому помочь, что там еще?

— Ну, там... Олешку привезли, утонул он, — и Лидка громко всхлипнула.

— Да что ты несешь?!

— Ну да, ну да! Тетя Наташа сама как мертвая, а Олешку привезли.

— Ой, да что ж это такое?! Она ж не хотела его отпускать, как чувствовала.

Я продолжаю машинально чистить картошку, и до меня все еще не доходит, о каком Олеге они говорят. Мой друг Олег должен через неделю вернуться из пионерского лагеря, и я ему уже столько подарков наготовил...

...Все остальное, что происходило в те дни, было словно не со мной, как бы во сне, — размыто, отрывочно. Подготовка к похоронам, похороны, поминки, девять дней, сорок дней... Помню, когда я нес венок впереди гроба, — все пытался представить себе холодную и бездонную глубину воды. За год до того я увязался со старшими пацанами на Амур, а там они обо мне забыли, я залез в протоку, зашел по пояс, шагнул еще и ухнул с обрыва, который был под водой. Плавать я не умел и сразу стал захлебываться, колотить руками по воде, рваться к берегу. Но меня неумолимо тянуло вглубь. Уже и силы были на исходе, я и кричать не мог. Хорошо, какой-то мужик увидел это и выхватил меня из протоки. Потом я сидел на берегу, давно уже просохший под палящим солнцем, но продолжал дрожать, потому что все еще ощущал в ногах мертвящий и бездонный холод воды. И сейчас я думал, каково было Олегу ощутить весь этот ужас.

Я механически ходил со всеми на поминки, на девять дней, потом на сорок. Мы сидели в большой комнате, где стояло пианино, оно было раскрыто, и ноты стояли на подставке, а зеркала и стекла книжных шкафов были закрыты черным, и оттого в полутемной холодной комнате становилось еще темнее и холоднее, и я снова ощущал в ногах нарастающий бездонный холод. Потом тот же холод возникал в левой ладони. Ею, прощаясь с мертвым Олегом, я коснулся его ледяного лба, прежде чем приподнять подушечку из стружек в изголовье и сунуть под нее свою драгоценность — чертеж нашего с Олегом будущего звездолета. До сих пор не знаю, почему это сделал. То есть сегодня, отмотав с того дня не один десяток лет, я могу это объяснить достаточно разумно. А тогда объяснить, конечно, не мог, только почувствовал какой-то толчок: так надо...

Зиму я провел как во сне: безвылазно сидел дома, много читая, но почти ничего не запоминая из прочитанного. Иногда пытался играть жестяными пробками в военные сражения, чем был увлечен дошкольником, а потом в первом и втором классах, но скоро опять все сбрасывал в ящик.

Учился я в четвертом классе вяло. Еще и Лидиванна, моя первая учительница, после смерти мужа никак не могла прийти в себя, хотя внешне старалась не по-

казывать это. Но ее внутреннее состояние каким-то образом передавалось мне. При ее появлении я чаще думал о том, что произошло летом.

Иногда я заглядывал на сеновал. Сидел на ящике, смотрел на кучу деталей, принесенных со свалки, но конструкция нового корабля не вырисовывалась. Лялю с выросшими щенками я отдал знакомым в поселок Зеленый.

В начале января, через полгода после смерти Олега, уехали из поселка его родители, — говорили, что в Ленинград. А к концу зимы, во вьюжную февральскую ночь я тяжело заболел.

Почти мгновенно поднялась температура, мне было то жарко, то холодно, во рту все стало вязким, ватным, язык, казалось, распух, не вмещался во рту. Меня положили в спальне родителей, приходил врач, мне стали давать какое-то питье и порошки. Но мне становилось все хуже. Всякие видения стали посещать. Одно я и сейчас хорошо помню.

...Будто стою я на нашей высокой сопке, а внизу, в болоте, эки пытаются поднять что-то большое и темное, вроде башню. Руками, шестами, все в грязи, чуть-чуть приподнимут, а она падает, тонет. Начальник какой-то бегают вокруг, кричит, матерится, а по краю болота солдаты с автоматами стоят, у некоторых на поводках овчарки — рвутся в болото, лают. У одного солдата — Стерва Ляля, но она не лает, а смотрит на сопку, на меня. А я кричу вниз: что вы, мол, делаете, дураки, посмотрите, сколько места, где нет болота, идите сюда, посмотрите сами! Но они меня не слышат, только мать гладит по голове, говорит:

— Ну успокойся, успокойся...

Я плачу, просыпаюсь и вновь проваливаюсь в видения.

...Вижу звездолеты, но они почему-то никак не могут сесть на Землю. Только приземлятся — и сразу взрываются или разваливаются, сгорают. Я пытаюсь к ним подбежать с полными ведрами воды, но вода мгновенно высыхает. Остальные звездолеты разворачиваются и улетают, а я беспомощно стою и плачу. И сказать ничего не могу: во рту сухо, как выжжено. Рядом появляется мать, она сидит на табуретке. Я смотрю на нее и прошу пить. Она дает какую-то теплую гадость, и у меня нет сил это выплюнуть. Опять куда-то проваливаюсь, передо мной какие-то лица, знакомые и незнакомые. Глаза избитого парня... Лидиванна с лепестками цветков багульника на губах... страшная заросшая физиономия, совершенно незнакомая... улыбающийся Олег с папиросой во рту...

— Олег, Олег!.. — обрадованно кричу я, но он поворачивается и медленно уходит...

А вот сразу три темных, заросших лица надо мной, один говорит: «Будем резать и зашивать», а кто-то тихо добавляет: «И душишь», — и смеется тоненько...

Мне действительно что-то сдавливает горло, я мечусь в кровати, вырываюсь из одеял и падаю на пол... Болезнь моя усиливается, теперь уже нет вообще никаких четких видений, только одно: все вокруг быстро умирают. Я остаюсь один, меня охватывает невыразимая тоска. И вдруг чувствую, как начинают сдвигаться стены, меня прижимает к кровати решетке, вдавливают в ее железные завитки, и мне очень больно. Надвигается на меня и потолок, он опускается очень медленно, но я знаю, что он обязательно опустится до самого пола, а мне некуда бежать, потому что и стены сдвигаются, и меня сейчас раздавит, раздавит... Потолок все ближе, а сверху из темноты доносится торжественная и очень мрачная музыка, она становится все громче с приближением потолка. Мне кажется, я еще могу спастись, если только открою глаза, но они покрылись какой-то слизью, и я не в силах ничего видеть.

— Мама, мама! — кричу я. — На меня потолок падает!

Мать опять рядом, промывает глаза, и я вижу, что беленый потолок высоко надо мной. Но как только зажмуриваюсь — все начинается сначала: потолок и стены

начинают сжимать меня. И музыка, музыка... она все время таится рядом, словно поджидает, когда я начну умирать. Я кричу:

— Мама, мама, я не хочу умирать, не хочу!

А кто-то, словно издали и откуда-то сверху, растягивая звуки, произносит:

— Ты не умрешь, сынок, ты будешь жить долго-долго...

Я плачу облегченно и навзрыд, захлебываясь слезами. Затем успокаиваюсь и проваливаюсь в темноту, в забытие...

Это был перелом, болезнь пошла на убыль. Но вот это ощущение неумолимо сжимающегося пространства с тех пор так со мной и осталось. Оно превратилось в физическое неприятие всяческих рамок и границ. Я не могу, например, долго находиться в комнате, узкой, как пенал, или с низким потолком. Как-то в студенческие годы я ездил в Посъет — это в Приморье, южнее Владивостока, и все время остро ощущал, что с одной стороны берег моря, а с другой — граница, что я нахожусь на узкой полоске земли, и мне очень тесно, хотя эта «полоска» на самом деле — шириной в несколько десятков километров.

...После болезни я как-то быстро, незаметно для себя и окружающих, оформился в «трудного» подростка.

ЛИДИВАННА

Когда мы дрались за ржавый японский пулемет с пацанами Зеленого и я пробил голову камнем одному из них, я еще не знал, что это будет мне снится. Сначала хвастал и спрашивал: видел ли кто это. Потом начал бояться, что узнает милиция, и меня заберут. И что стало с тем пацаном: только ли шрамом отделался?

Лишь через годы, в шестнадцать лет, когда кастетом мне порвали губы, а я лежал и почти плакал от боли, унижения и злости, что меня бросили друзья, наверное, сумел понять многое.

Но это было потом, и понимание вполне могло бы не прийти даже и через годы, даже от многих ударов кастетом, если бы не было в моей жизни задолго до того Лидиванны...

В первый же день, на первом своем уроке, она сказала, чтобы мы сели прямо и заложили руки за спину. И показала, как это сделать, сев на свой стул боком к нам. Она посмотрела на нас строго, а потом улыбнулась. Ее светлая коса, уложенная короной на голове, ее белая кофточка, сколотая у горла брошью с голубым пламенем... Это был первый день моего первого класса.

— Может быть, вам будет неудобно, но вы скоро привыкнете. А когда надо будет писать или читать, я скажу, что руки можно освободить. Я не хочу, чтобы вы росли сутулыми, — говорила она, прохаживаясь между партами и поправляя, если кто-то наклонялся вперед.

Еще она с первого дня рассадилась всех по парам. Меня — рядом с Оксанкой, девчонкой из крайнего дома нашей Линейки. Когда Оксану после третьего класса родители увезли из поселка (отца выпустили из колонии), я долго не хотел сидеть за партой с другими. Имя Оксана мне нравится до сих пор. И еще мне долго казалось, что Оксанка не позволила бы себе того, что мы, став постарше, проделывали с другими девчонками на сеновалах наших замечательных сараев...

Мы, наверное, были самыми аккуратными первоклашками, выходили из класса только парами и строем, а коридор при нашем появлении тотчас стихал. Лидиванна шла впереди, не оглядываясь, по скрипучему барачному полу нашей «тридцатки», распахивала широкие двухстворчатые двери и спускалась по выщербленному

красно-бурому крыльцу. И только у ворот зеленой ограды останавливалась, пропуская нас. За воротами класс разбрехался, но многие не спешили, ждали, когда Лидиванна скажет, кто из нас провожает ее сегодня до дома. Она жила на первой Линежке и, значит, мне и некоторым другим выпадало чаще — наши дома были подальше, на второй Линежке. Иногда мне доставалась пачка тетрадок. Нести их было приятно, они были теплыми.

...Когда-то я делал несколько попыток написать рассказ о своей первой учительнице. Получалось что-то святочное. Наверное, можно было бы и примириться с теми попытками, оставить все, как изобразил, а потом умиляться тем картинкам. Было же, когда Лидиванна водила нас ранней весной в ближний лес, увлеченно рассказывала о травах, деревьях, птицах, и мы веселились, пели песни, а я показывал ей, что ничего страшного не произойдет, если буду есть цветы багульника. Она сама их попробовала, и нежно-лиловые лепестки трепетали на ее губах, а я ощущал сладкий и кислотоватый одновременно привкус.

А еще всю жизнь меня сопровождает ее голос — низкий и напряженный, когда она читала вот эти строки: «Там чудеса: там леший бродит, / Русалка на ветвях сидит. / Там на неведомых дорожках / Следы невиданных зверей...» или «...То как зверь она завоет, / То заплачет как дитя...». Мне это было очень зримо. Рос рядом с тайгой, много по ней бродил, часто в одиночку.

Однажды, на перемене, уже в третьем классе, мы так раскрутились на пятках, что я не удержался на ногах и ударился затылком о край парты и потерял сознание. Очнулся в учительской, на диване. Лидиванна гладила меня по голове, что-то приговаривала, в затылке все тише пульсировала боль, а я все сильнее ощущал ее теплые колени.

Было также, что мы, уже осевшие своими семьями в разных городах, собрались вместе, в школе, пригласили Лидиванну. Кто-то из девчонок даже порыдал с ней о чем-то своем за закрытыми дверями соседнего класса.

Но было и другое, о чем я умолчал тогда, в тех картинках, либо чего-то недопонимая, либо не желая омрачать лубок детства.

...Лидиванна никогда не приглашала нас к себе домой. Ее дом на первой Линежке стоял наискосок от нашего, видны были окна, но они всегда были задернуты шторами. Я тогда не задумывался над этим. Хотя сегодня, вспоминая, можно различить в том давнем много странного в жителях домов наших Линеек.

Дома наши в поселке были заметные: в два этажа, по два-три подъезда. Квартиры просторные, с холодной и горячей водой. И хотя стены у домов были засыпными, обшитыми досками, зато с шиферными крышами. Но в поселке все остальное — это бараки, десятки красноватых барачков, покрытых толем, как и ближайший лагерь за высоким забором и колючей проволокой.

Все, кто жил в десяти домах Линеек, были причастны или к администрации завода, или к спецам, или к охране лагеря. Они часто менялись, порой мы не знали, кто живет в соседнем подъезде и куда делись предыдущие жильцы. За пять первых школьных лет из моего класса уехали многие. Оксанка, с которой я делил парту и первую школьную любовь... Юрка Зингер, с которым я начинал с детского сада и у которого в квартире всегда было шумно, много народа, а об Юркином отце говорили как о большом спекулянте. Юрку увезли в пятьдесят пятом, когда расформировали лагерь... Были и ребята, к которым не успевали привыкнуть...

Сегодня дома Линеек конца сороковых и начала пятидесятых воспринимаются мной как большая гостиница, в которой постоянно толкутся проезжающие. О них известно было очень мало, да и не всем это надо. Главное — о чем знал весь посе-

лок — эти люди и их семьи причастны к руководству. И если даже спецы были из бывших, но их селили в наши дома, то относиться к ним надо было с уважением.

Мало кто из соседей сходил к близко. Только те, кто жил здесь давно, как мои родители. Но таких было немного, да и часто близкие отношения не получались из-за прошлого. А нередко причины были рядом, в настоящем, в котором надо было опасаться лишнего слова. Практически все, кто жил в поселке, приехали сюда не по своей воле, в основном под охраной. И даже о служебном долге для некоторых лучше говорить с ухмылкой, потому что здесь прятались за страхом пустые слова или надежда на быструю карьеру.

Странно, но через многие годы и десятилетия все-таки на первое место у многих выплыло уважение к себе, как к построившим в тайге громадные заводы и большой город. А то, что пряталось в подсознании и что давило страхом и насилием, уходило и растворялось, зарастало бытием после середины пятидесятых.

...Когда оно пришло это выражение — «отвали на Падали́ !» — не помню. Но во втором классе, когда мы себя уже ощущали в школе своими и вершили свои права над первоклашками, то уже всюду орали друг на друга, если требовалось защититься. Потому что было складно.

Падали́ — это село напротив города через Амур. Туда из города ходили вагоны и таскали на себе вагоны для поездов, уходящих к морю, Тихому океану — в Ванино и Совгавань. Поезда шли через Кузнецовский перевал, грузы с материка через пролив попадали на Сахалин.

Но эти детали стали мне известны позже. А еще позже, уже в своем взрослом состоянии, я узнал, что строили станцию за Амуром женщины-зэчки из лагеря «Падали́ ». И железную дорогу от станции через перевал вели зэки. Еще в тридцатые годы. И что город в конце «железки», который должен был встать вдоль очень глубокой и таинственной, похожей на краба бухты, уходящей узким жерлом в океанский пролив, также строили зэки. А город — как было принято — должен быть наречен одной из разновидностей фамилии вождя. Видимо, в соответствии с этим город начинался особым методом: десятки, если не сотни, домов строились одновременно. Город должен был стать очередным форпостом империи.

Но пришла большая война, и стройку остановили. А сегодня это километровые заросшие ряды бетонных фундаментов вдоль автотрассы, идущей в Совгавань. Надгробия для тех, кто их ставил под бдительным прищуром.

...Впервые я попал на Падали́ в шестнадцать, когда с приятелями Вовкой и Витькой поехал на заготовку брусники. Село было так себе: слепленное из разномастных частных домиков с огородами. Только вдоль путей шло что-то, похожее на улицу, да сама станция была составлена из стандартного набора — деревянный вокзальчик и рядом несколько небольших темно-зеленых строений. Вдалеке, за деревянным мостом через ручей, по дороге виднелся ряд барачных заборов из колючей проволоки — привычное зрелище для поселков, расположенных вокруг нашего города.

Отсюда мы в обычном грузовом вагоне несколько часов поднимались к перевалу. Поезд часто вилял по склонам сопки, будто выбирая тропу поудобнее, и дощатый занозистый пол вагона ходил под нами из стороны в сторону вроде стиральной доски. Но это замечалось меньше всего, так как за раздвинутой дверью вагона плыла далеко видимая первоосенняя тайга. Густая зелень сосен и лиственниц с проплешинами желтых и красных берез, осин и кленов — все эти краски перемалывались под ярким солнцем и в тених распадков, скользили с нами вверх, и

опять мир только начинался, а из вагона вдаль виделись снежные шапки Чагояна, за которыми наверняка меня ждало что-то необыкновенное.

На полминуты поезд притормозил на заброшенном полустанке, мы поспрыгивали, передавая друг другу короба и рюкзаки. Пока сюда добирались, день стал близок к сумеркам. На ночлег разместились на полу того, что раньше называлось станцией, благо, что крыша была цела и окна забиты досками.

Утром, еще по туману, двинулись в путь. Брусничники, говорили, располагались недалеко, за одной из ближайших сопок. И вот здесь, на этом недалеком пути, в меня вошло и уже не оставляло, не уходило из памяти никогда странное восприятие окружающего.

Тропа была заболоченной, чавкала под сапогами, подсовывала под ноги корни и обломки толстых ветвей. То и дело приходилось огибать пни, уже старые, полусгнившие. А впереди еще слоился туман, и появлялось ощущение, что тропа ведет в никуда. К тому же вдоль тропы, слева и справа, из тумана вдруг появлялись старые и толстые, оголенные от коры ветви, торчащие вверх. В переливах тумана ветви оживали. Они тянулись к тропе, цеплялись за одежду, и приходилось уврачиваться. Это казалось бесконечным.

Затем туман быстро уполз, растаял, и стало видно, где мы идем. Зрелище было не из приятных. Вокруг — и вниз от нас к железной дороге, и влево-вправо по склону сопки, на которую мы поднимались, а главное, вверх, по нашему пути, — лежали старые деревья и догнивали пни. И ветви деревьев, старые и обглоданные, тянулись вверх, будто пытались что-то сказать. Впоследствии мне не раз приходилось ездить по этой ветке через перевал, до пролива. Таких участков — с деревьями вповалку — было много. В Европе, по западной России, вдоль Транссиба я такого не встречал, там по откосам всегда чисто, прибрано. Да и не в этом суть. Тогда, в походе за брусникой, я — опять-таки неосознанно — получил очередной заряд нереальности всего происходящего со мною.

Эти старые деревья для меня были живыми, они хотели мне что-то передать, о чем-то рассказать. Так же, как когда-то мне пытались что-то сказать Стерва Ляля, старые сараи вдоль нашей Линейки и многое другое. Так же, как и самоубийство человека в тайге за нашим поселком. Мужа Лидиванны.

И уже после, через многие годы, мысль: нужна была дорога, а деревья и люди, строившие дорогу, были ни при чем. Первых бросали как попало, не убирая, а вторых здесь же закапывали, списывая в отходы. И ветви старых стволов — это руки тех, кто остался здесь.

Но это еще было впереди, а тогда у меня, четвероклашки, пережившего гибель друга Олега и только что самого едва избежавшего такой же участи от жесткой зимней простуды, как-то не связывалось, что человек, застрелившийся в тайге за нашим поселком, и муж Лидиванны — это единое. Я не замечал, что моя учительница стала суше отвечать на наши вопросы, сильно похудела в зиму начала пятидесят шестого. И глаза за толстыми стеклами очков были без того особого блеска, когда она заразительно хохотала и подтрунивала над нами — третьеклассниками. Да, в первом и втором классах она терпеливо и серьезно, иногда слишком твердо, подтягивала нас к пониманию отношений между собой и взрослым миром. А в третьем классе мы уже стали другими — мы стали ее частью. И с нами, как она считала, уже можно было говорить на равных.

Провожали мы Лидиванну после уроков только до подъезда, и мужа ее я видел всего несколько раз и издали. Уезжал он рано, когда я только шел в школу, в первую смену. Иногда видел, как вдоль домов по первой Линеике к городской трассе проезжал черный легковой автомобиль. И раза три также издали видел,

как в этот автомобиль садился высокий худой человек в форме. По вечерам у дома автомобиль появлялся уже в темноте. Отец говорил маме, что муж моей учительницы работает в управлении лагерями и занимает высокий пост. А приехали они из Ленинграда в конце сороковых. Я возился в углу нашей большой кухни со своими солдатами-пробками — под присмотром родителей от набегов старшего брата — и впитывал детали разговоров. Вопрос — почему высокий чин живет на окраине города, в поселке? — меня тогда не интересовал.

Когда-то я несколько лет, в семидесятых, жил в Совгавани и работал в газете в отделе промышленности и транспорта. Моя аналитика нравилась одному горкомовскому партдеятелю, курирующему экономику, и мы часто встречались для обсуждения текущих дел. Мне нужны были его точные и глубокие замечания. Но иногда, при этих разговорах, он вдруг, как бы мимоходом, задавал вопросы не совсем на производственные темы. И внимательно смотрел, словно внутрь меня.

Был он старше, уже давно за тридцать. Всегда в костюме, при галстукке. Даже среди обитателей этого дома выделялся и обликом, и походкой — деловой, энергичный, быстрый. За стенами его кабинета мы не общались, но однажды поздно вечером он ввалился в мою холостяцкую комнату, ошарашив изрядно. Был пьян и еще принес. Говорили о многом, и я бы все это не запомнил, не случись того, что произошло через три дня. Все, что он говорил, излагаю в отрывках, фрагментарно.

«Кругом бездари, друг друга подсиживают. Поэтому первый окружает себя родственниками, а не профи, своих-то легче давить».

«Предложишь что, он тут же: тебе больше всех надо? У нас, мол, есть кому думать: скажут, пришлют сверху бумагу — вот и паши».

«Не удивляйся, что пришел к тебе. Сегодня ты для меня как попутчик в поезде: поговоришь, душу отведешь, а завтра — свои разные дороги. Да и мозги у тебя есть, хотя пока не заполненные, много чего не знаешь».

«Бойся таких городишек, как наш. Это тупик, отсюда — в никуда. Здесь таких, как я, не любят. Амбиции, знания и опыт глушат на корню, а двигают только своих, которые лижут. Ошибочку я сотворил, не там хранил бумаги, вот их и нашли, а меня сослали подальше, сюда. Чтоб неповадно было, чтоб не копал под их рыла поганые. А здесь — край света, дальше — пролив, океан, нырнешь — и поминай как звали».

«Что впереди — не вижу. Когда-то считал, что с партией мне будет легче, что в ней сходятся самые лучшие, самые грамотные и инициативные. Лажа все это, иллюзия... У тебя профессия вольная, задатки хорошие, тебе бы бежать отсюда».

«Порода у нас, у меня особая — одиночки, полные эгоисты. Или все, или ничего. У таких мужиков — два варианта: спиться или прикончить себя. Первое — не для меня».

«Бабам такой породы легче — они всех давят, подчиняют. Они не спиваются и не кончают с собой, а добивают всех подряд, чтобы свое заполнить. У меня жена была этой масти. Разбежались, в одной норе таким не место».

Пил он нехорошо — наливал себе, не обращая на меня внимания, говорил будто только с собой, торопился, словно избавляясь от накопленного.

...Через три дня его нашли на чердаке повешенным на поперечной балке. Говорили всякое, была версия, мол, кому-то перешел дорогу. У меня сомнений не было. Он сделал это сам.

Потом мне не раз приходилось с подобным сталкиваться. Спиваются чаще, чем убирают себя. Есть среди самовлюбленных мужиков еще одна категория, это когда

вешаются на шею бабам, верящим любой лапше, и живут в свое удовольствие. Таких тоже хватает.

Сегодня наших Линеек уже нет — снесли. И бараков в поселке не осталось. А школа — это теперь комплекс больших зданий. Город слился с окраиной, и в наш поселок даже приходит автобус из Хабаровска — за четыреста километров. Но нет уже моей первой учительницы. И многого другого уже нет. И многих. Тех, кто зарядил меня на жизнь.

ВЫШКА

Кроме пистолета, у меня ничего больше нет. Но я надеюсь справиться. Прохожу, полупригнувшись, сквозь мелкий хвойник и только у самой колючки ложусь в траву. Здесь, вдоль проволоки, проходит натоптанная тропа. За колючкой опять трава, а дальше, вдоль забора, на высоте моего роста тускло блестит проволока. К ней на ночь цепляют овчарок. Но сейчас еще день, этим я и хочу воспользоваться.

Я долго готовился, долго, несколько лет. Главное, как мне теперь кажется, требовалось преодолеть страх. И перед теми, кто был за забором, и теми, кто их охранял. Это был неравнозначный страх. Одних я боялся, как вообще вооруженных, потому что мне, да и не только мне, часто внушали, что если у тебя есть оружие, то его надо применять. Чужих людей с оружием я сторонился. А они нередко появлялись в поселке, кого-то искали.

Других, тех, что за забором, я боялся, не зная их, видел лишь издали, когда их везли по утрам под охраной на завод. О них говорили всякое. Они шли по дороге, огороженной двойной колючкой, и их сопровождали солдаты с автоматами. По ночам лаяли овчарки, шарили по небу прожектора.

Но потом, в пять лет, я разбился, и на несколько часов оказался за забором.

Меня зашивал заключенный, и мне он не показался страшным. И позже я стал думать, что хирург там не должен быть. Только я боялся спрашивать у взрослых.

Теперь я стал старше и знал, где взять пистолет. И я решился. Я рассчитал, что легче всего будет захватить вышку, а уже оттуда, с высоты, потребовать свое. Но еще лучше — стрелять.

Прежде чем перемахнуть тропу, я осторожно огляделся. Никого. Миг! — и я у колючки. Самая нижняя проволока проржавела и лопнула с тихим стоном при одном прикосновении. Я на спине скользнул под колючки и нырнул в давно не кошенную траву. Замер на мгновение, прислушиваясь: все было тихо. Даже кузнечики застыли в июльской слепополуденной тяжелой жаре. Я бесшумно пополз к забору...

Может быть, надо было взять берданку? У отца были берданка и двустволка шестнадцатого калибра. Берданка нравилась мне больше, у нее был боевой вид, и затвор был, да и отдача слабее, чем у шестнадцатого. В прошлом году, как раз в день моего рождения, отец меня и моего старшего брата увел в тайгу, учил нас стрелять. Я дважды продырявил консервную банку и срезал ствол молодой березки пулями из берданки. Из пистолета отец стрелять не разрешал, но я знал, где он его прячет. Я мог бы взять и берданку, но с ней было бы много возни. Меня, наверное, сразу бы застучали с ней, не спрячешь за пазуху, да и ростом я пока коротковат.

Сегодня утром отец сказал:

— Все, мать, поеду оформлять увольнение, жди вечером.

Лицо у него было довольное, сапоги блестели, парадная форма отглажена. Я помнил, как в последние годы он часто говорил матери: «Надоело, надоело...»

Пистолет Макарова лежал в сундуке под замком. Когда мать ушла в огород, я быстро отодвинул сундук, подставил под задние ножки по детскому кубику и отверткой отогнул фанерное днище на левом углу. Здесь под тряпками и лежала плоская коробка с Макаровым. Пистолет я вынул, коробку сунул на место, подвинул сундук к стене. Через пять минут я бежал через хвойный лесок к зоне.

Я знал, что уже поздно, что там, наверное, никого нет, но я бежал. Все эти годы во мне что-то вызревало, накапливалось в гнойник, и я не выдержал. Влажной ладонью я ухватился за перила крутой лестницы, вынимая из-за пояса правой рукой пистолет. Ступени, почти вертикально ведущие вверх, были серыми, покоробившимися и в трещинах. В нашей тайге растет почти одна лиственница, и из нее построили в городе много высоких заборов и вышек. Я стал подниматься, ступеньки заскрипели, я замер. Но наверху было тихо.

Вновь пошел, стараясь ставить ногу на стык ступеньки и боковой доски, на ржавые шляпки гвоздей — так меньше скрипело. Подъем был нелегким. Ссохшиеся, растрескавшиеся перила впивались в ладонь занозами, рубашка липла к спине. И было так тихо, что отчаяние все больше охватывало меня. Опоздать теперь, когда я наконец решился! Я теперь точно знал, что опоздал месяца на два, когда почти неделю отец пропадал ночами и от зоны в сторону железнодорожного вокзала тархтели грузовики.

Тогда и в поселке появились некоторые из-за забора. Они и раньше иногда появлялись, но теперь их стало гораздо больше, четверо даже поселились в последнем подъезде нашего дома. Взрослые их вроде и не замечали, привыкли к ним на заводе. А мы, пацаны, разглядывали с жадным любопытством. Особенно было смешно видеть в первые дни, как они, выходя из своего подъезда, озирались, будто только на свет народились.

Почему их выпустили? Зачем же их охраняли, если так сразу и выпустили? Если они враги — их нельзя было выпускать. А если враг, то зачем же он меня зашивал? Меня учили стрелять. А если враг тот, кто их выпустил? Разве можно в один день — всех сразу? Я поднимался по скрипучим ступеням, уже не таясь и не обращая внимания на занозы. Беспольного Макарова я сунул за пояс. Я знал, что на вышке никого не встречу, что стрелять мне не в кого.

Откинул крышку люка, выбрался на дощатый настил. Прошел в угол, который нависал над зоной. Здесь у перегородки стояла железная тренога. Да, на ней раньше крепился пулемет, но теперь-то — ничего! А жаль!

Я взглянул вниз. Передо мной, как расстеленная скатерть, лежала зона. Вся, до последнего уголочка, с бараками, с ровными дорожками и невысокими тополями. С внутренним, как и снаружи, колючим ограждением, чтобы нельзя было от барачных приблизиться к забору. Напротив меня, на противоположном углу зоны, — такая же высокая вышка. И по бокам точно такие. И ворота высокие, тройные, а от них дорога к заводу между двойными рядами колючей проволоки. Солидно все сделано, надолго. И потому меня покорило, что ворота были распахнуты. Словно кто-то торопился, по небрежности забыл закрыть. Да и в бараках двери были нараспашку.

Может быть, очень скоро в эти бараки кто-то вновь войдет, двери закроются, и ворота захлопнутся? Но сейчас-то в зоне пусто и глухо, словно выжжено солнцем.

Я встал за треногу, сжал ладони, и будто потеплели в моих ладонях рукоятки «станкача». Я медленно повел стволом вдоль барачных, к воротам, выискивая на подметенных дорожках что-либо шевелящееся. С вышки все хорошо просматривалось, высокая была вышка, удобная. Но в зоне стояла тишина, мертвая тишина. Тогда я повел стволом вдоль дороги, к заводу. Но и на дороге никого не нашел.

Приподнял ствол над заводским забором с колючкой поверх остроконечных плах и увидел в прорезь прицела большие окна цехов с пляшущим в стеклах

солнцем. Солнце мешало смотреть прицельно, резало глаза. И от этого еще шире расплзался разлом в груди, в голове. Но тут же появился и стал быстро нарастать восторг, небывалое прежде чувство подвластности всего того, что было внизу, мне и моему пулемету. Я ведь умею хорошо стрелять!

Я повел ствол «станкача» от завода к поселку, и тот вдруг оказался в прицеле так близко, что я отшатнулся. Когда смотришь на зону из поселка, даже с крыши нашего двухэтажного дома, она в тесном обрамлении высокого забора всегда расплывчата, чужда, а потому — далека. Сейчас же с вышки, в которой было, пожалуй, две высоты моего дома, хвойный лесок превратился в траву, а дом наш приблизился вплотную, даже видны были пеленки на балконе соседей, что над нами.

Я вновь приник к прицелу. Сквозь прорезь четче вырисовались окна. Я осторожно вел ствол. Вот за стеклом шевельнулся силуэт. Я замер. Сейчас рукоятки застрянут в ладонях, под пулями посыпятся стекла этого жуткого взрослого мира. Я же умею стрелять...

Шел пятьдесят шестой год.

